



СИНДРОМ ИДЕНТИЧНОСТИ ГЛУБОКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОНИМАНИЮ КРАИНЫ

Копривица Часлав Данилович (а)

(а) Белградский университет. 11050, Сербия Белград, ул. Лове Илића, 165.
Email: caslav.koprivica[at]fpn.bg.ac.rs

Аннотация

В этой статье мы выделяем различные виды политических границ между культурно-политическими образованиями, характер которых варьируется в зависимости от особенностей им соответствующих исторических ситуаций. Наибольшее внимание уделяется типу границ, формируемых в областях, где в течение достаточно длительного промежутка времени не удается разрешить спор между двумя сторонами, что порождает соответствующий тип коллективной политической идентичности данных сообществ. В отличие от случая неконфликтного или умеренно напряженного типа сосуществования двух коллективных образований, которые мы называем пограничным, при надолго нерешенном споре создается такой тип идентичности, который будем называть приграничным, где факт нахождения на границе определяет и образ жизни в глубине территории.

Такая обстановка постоянной чрезвычайной ситуации в течение длительного времени препятствует консолидации соответствующих коллективных идентичностей, как это обычно происходит в неприграничных сообществах, что в конечном итоге вызывает мутацию их идентичности. Сообщества, обладающие такими незавершенными идентичностями, обычно расположенные в зонах повышенной геополитической значимости, пригодны для инструментального обращения со стороны внешних, обычно имперских держав. Анализ приграничных коллективных идентичностей был проведен со ссылкой на примеры из Юго-Восточной, особенно сербской краины, и Восточной Европы.

Ключевые слова

Граница; пограничье; краина; сербы; чрезвычайное положение; борьба; страх; Восточная Европа; философия экзистенции



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution – Non Commercial – No Derivatives»](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

THE SYNDROM OF DEEP BORDERLAND'S IDENTITIES. CONTRIBUTIONS FOR UNDERSTANDING OF KRAJINA

Chaslav D. Koprivitsa (a)

(a) Belgrade University. 165 Jove Ilića Str., Belgrade, Serbia 11050.

Email: caslav.koprivica@fjn.bg.ac.rs

Abstract

In this article, we highlight boundaries between various types of cultural-political entities, whose nature varies according to the features of their respective historical situations. Most attention is devoted to the type of boundaries that are formed in areas where for a long time two communities failed to resolve their dispute, which generates the corresponding type of collective and political identity of the two respective sides. Unlike the case of a non-conflict or moderately strained type of coexistence, the peculiarity of relationship between two communities creates a special type of identity in the course of long-standing unresolved dispute, so that the fact of being on the border defines the way of life in the depth of territory.

Such a constellation of a permanent emergency situation prevents for a long time the consolidation of collective identities of the corresponding sides, in the otherwise usual manner between mutually non-hostile communities, which ultimately causes their identities' mutation. Communities that possess such unfinished identities, usually located in an area of heightened geopolitical significance, are suitable for instrumental treatment by external, usually imperial powers. The analysis of borderland collective identities was carried out with reference to examples from Southeastern (especially Serbian krajina) and Eastern Europe.

Keywords

Border; borderland; state of emergency; krajina; Serbs; struggle; fear; Eastern Europe; the philosophy of existence



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



ВВЕДЕНИЕ

Спекулятивная плодovitость понятия границы в философии была признана даже в ее начале, например, с учениями Платона о неопределенной двоице, чтобы новый толчок в модерне приобрел толкование границы Гегелем. В этом докладе речь пойдет не только о принципиальных разъяснениях понятия границы, но и о рефлексии ее реальных, исторических вариантов, а также об их последствиях на уровне ментальности для сообществ территориально разделенных различными типами границ. Поэтому понимание характера конкретной границы должно учитывать фактические на нее действующие условия разграничений, а среди наиболее важных оказываются отношения между субъектами с обеих сторон границы, из чего становится понятным, что именно они, их характер и модальность, весьма типичны для этих отношений. Граница – это «место» встречи между двумя разными, друг друга касающимися, но разделёнными сторонами. Одним из самых значимых свойств конкретной границы является эпифеномен природы намерений т. е. отношений между двумя сторонами, находящимися в пограничном контакте.

Идеально-типически границу можно рассматривать как бесконечно тонкую, инфинитезимальную зону, возникновение которой «математически» можно описать как то, что остается за процессом сужения области края одной стороны, когда в какой-то момент он заканчивается и переходит в краевую область соседней. Конечно, чтобы этот мыслительный эксперимент мог быть «совершен», необходимо, чтобы между обеими сторонами не было очень мешающих препятствий, причем, конечно, не только физических. Если это так, тогда граница существует как область *безконфликтного соприкосновения* т. е. «кооперативного» перехода и прохождения между двумя различными сторонами, где культурная инаковость трансграничного актера рассматривается не как причина недоверия, а наоборот как отправная точка друг для друга, не мешающего или даже дружественного сосуществования. Если взаимное доверие будет создано в достаточной степени – а его существование или совершенствование могут быть иногда и юридически санкционированы или инициированы – границы могут даже быть «отменены», как в Европейском союзе, правда, для какой-либо вспышки достаточно существенных разногласий, как, например, показал последний «мигрантский кризис». Конечно, эти границы никогда не стирались, не сожжены карты, в которые они были чётко вписаны, и они не исчезли из памяти. Так, у границ внутри ЕС по-

прежнему есть доски, информирующие путешественников, когда, хотя и не останавливаясь, они переезжают из одной страны в другую. Они напоминают о том что – вслед за понятием Джона Сёрла – *статусная функция институции* границы не сводится к свойствам определенных физических предметов, предназначенных для ее вписывания. То, что было отменено, а что – как мы видели на примере некоторых стран ЕС, которые, опасаясь неконтролируемого потока из Азии и Африки, спешно «вспомнили» о своих границах – в любое время может быть вновь введено, это поддержание определенного *пограничного режима*. Установление и проведение пограничного режима для современного государства является типичной, как когда-то верили, и «естественной» формой межгосударственного поведения, когда еще исходили из того, что само существование межгосударственной границы требует определенных практик и действий по отношению к лицам и субъектам, ее пересекающим.

На другом конце спектра режимов реальных границ находится то, что можно назвать «фронтом мирного времени» то есть (почти) непроницаемая линия соприкосновения враждующих, но войну пока не начинающих т.е. не продолжающих сторон. Но, в отличие от линии военного фронта, которую, если позволяют обстоятельства, обычно пытаются переместить в ущерб врагу, здесь фронтовая линия соприкосновения заморожена. Возможно, лучшим примером такого мирного фронта в современном мире является граница между двумя Кореями, знаменитая 38-я параллель, или это, по меньшей мере, было так до недавних встреч и соглашений между главами двух стран. Этот пример лишний раз подчеркивает зависимость характера границы от текущей динамики друг с другом границу имеющих субъектов т.е. сторон, так что уровень их взаимного (не)доверия пропорционален уровню (не)стабильности и (не)дружественности соответствующего пограничного режима.

Граница, как линия прикосновения, контакта двух сторон, является тем, что они разделяют, в которой они совместно «участвуют», поскольку то, что рассматривается концом одного, или началом другого, одно и то же, их соединяющее, только смотря с их соответствующих точек зрения. Именно такое принципиальное отношение было реализовано в результате отмены пограничного режима внутри ЕС. Но если две стороны друг с другом враждуют, или просто между ними владеет недоверие, то общая граница их на самом деле не соединяет, потому что для них иметь что-то общее с противником, особенно такое важное, как границу, можно рассматривать даже как угрозу для себя, или наоборот как возможность



нанести ему удар. Поэтому они такого рода опасность иногда пытаются уменьшить, создавая физические барьеры и в пограничных поясах, и в глубине своих территорий. И тогда, вместо одной общей, совместно разделяющей границы, на самом деле существуют, условно говоря *две границы* (по меньшей мере на уровне их восприятия) – «моя», защищающая меня от врага, которая с течением времени начинает восприниматься частью моего бытия, которое также создает свою собственную «броню». Соответственно, и у врага есть «своя», от моей иная граница, хотя она не только физически, но и для посторонних та же самая.

Аналогичные таким двум видам границ в культурно-антропологическом смысле можно «дублировать» как прикосновение обусловившее и не обусловившее встречу двух сторон. Точнее, прикосновение это дескрипция ситуации, происходящей нужным образом из самого факта их физической близости, «соседствия», а встреча – это *событие*, которое может и не сбыться – вопреки прикосновению. «Вечные войны, "вечных"», рядом проживающих врагов можно и объяснить их никогда несостоявшейся встречей.

Для уподобления характера области соприкосновения двух враждующих сторон природе их отношений, необходимо на самом деле отменить границу *как общую*, и сначала ментально, а затем физически завести *две границы*, которые будут функционировать преимущественно как соответствующие линии обороны друг от друга. Вместо *нашей границы моя граница* будет введена против *твоей*, а степень их различия, раздора, антагонизма будет пропорциональна желанию не иметь ничего общего с противником, кроме, конечно, самой враждебности. «Двуграничье» является, по сути, результатом попытки «стереть» общую границу, т.е. отменить «однограничье». А область «встречи (не и воссоединения – Ч. К.) границ» – это *фронтир* (Манан, стр. 93). К этому принципиальному вопросу вернемся потом. Отмену общих границ, видимо, можно сделать по-разному.

Физическое обустройство непроницаемых защитных границ имеет эффект «строительства», то есть укрепления ментальных межкультурных границ. Разумеется, верно и обратное, поскольку опыт странности, недоверия и даже открытой враждебности трансграничной инаковости – это причина обустраивать физические, вряд ли пропускаемые границы, которые, между прочим, являются, как образ, достаточно значимым для человеческой ориентации¹.

¹ Чешский философ Ян Сокол в своем информативном тематическом тексте указывает на дифференциацию представлений о направлениях, несмотря на то, что все они имеют общее происхождение в физическом нахождении человека в абстрактно воображаемом пространстве:

Таким образом, граница может быть испытана и, следовательно, организована и институционализирована как линия разделения и касания Другого, но также и как плотная броня от него. Это может быть зона ограничительных контактов и общения, а также препятствие для возможного проникновения соседней, как вражеской воспринимаемой инаковости. В любом случае, так называемая «граница-невидимка» (существование которой видимо в *режиме* ее пересечения, а не потому что она обустроена т.е. маркирована оборонительно-военными сооружениями) и так называемый «фронт мирного времени» представляют собой два концептуальных экстрема, ограничивающих спектр, в пределах которого находятся, если не ошибаемся, все известные межсторонние, межсубъектные, межгосударственные и даже междивизиационные границы и им соответствующие пограничные режимы.

Таким образом, граница может появиться почти как непреднамеренное следствие разрыва пространства и выражать фактическую неоднородность с точки зрения идентичности совокупной культурной реальности человечества. Она также может быть предназначена для защиты и улучшения благосостояния данного субъекта, вопреки внешним угрозам – реальным или мнимым, это не имеет значения. Нас дальше, прежде всего, будут интересовать последствия на уровне культурной идентичности из-за долгой жизни «приграничников» в районах близости границ, задуманных как непроницаемые – наподобие французской Линии Мажино (к Германии в канун Второй мировой войны) – в отношении к трансграничному врагу или врагоподобной стороне.

«Направления, которые неразрывно связаны с плотью: вперед и назад, влево и вправо - отходят назад, а два оставшихся, т. е. вверх – вниз и близко – далеко, все больше становятся социальными, т.е. коллективными различиями и категориями» (Sokol, p. 53).

Разница вверх – вниз принадлежит тому, что обычно связывают с религией, а затем, через дополнительную метафоризацию – и с нравственностью. Для анализа культурного восприятия или культурной онтологии взаимодействия разных территориальных образований ключевая противоположность это близко – далеко, то есть, при ее менталитетном «дублировании»: близкий – чужой. Переход от плоти, то есть о индивидуально-антропологического, к социальному, Сокол предполагает через следующие, хотя и каузальные, но не подтвержденные, тем не менее, кажется убедительные символические аналогии:

«Структура центра и периферия – это основная структура человеческого опыта, антропологическая константа, на которой вряд ли можно что-либо изменить. Человеческие общества всех видов также показывают этот центростремительный строй, через который умножается и социализируется структура человеческого сознания и сенсорного опыта» (Sokol, p. 55).



ПОГРАНИЧЬЕ И/ЛИ ПРИГРАНИЧЬЕ

Живущих возле такой непроницаемой или едва ли пересекаемой границы, ведущих специфичную, *приграничную экзистенцию*, будем называть «приграничниками». Они не только живут у границы, но и исполняют роль ее охранников, чтобы не допустить перемещение, по меньшей мере в ущерб собственной стороне. Напротив, люди, живущие вдоль границы между странами или государствовподобными образованиями, среди которых нет явно враждебных отношений, и где, следовательно, нет соответствующего (полу)враждебного пограничного режима, не являются «пограничниками». Они в «нашем» смысле, конечно же, не чиновники государства, как это слово привычно используется в наше время, даже и не те испытывающие в значительной степени в своей повседневной жизни факт существования трансграничного, но и врагоподобного образования, а люди, которые живут на территории до конца не ассимилированной ни одним государством. Таким образом, приграничником человека делает само проживание в области соприкосновения двух культурных, территориальных, друг с другом враждующих инаковостей, что создает особое качество коллективного существования, главной чертой которой является *повышенное чувство временности*, обстоятельств и общего уклада повседневной жизни, потому что война на такой границе, в принципе, независимо от эвентуальных, вступивших в силу контрактов и соглашений, может вспыхнуть, вернее, возобновиться, в любое время. На такой границе правовые документы не имеют решительного влияния и не представляют собой достаточную гарантию против предохранения столкновений, поскольку глубокое, иногда на протяжении веков «построенное» взаимное недоверие, в конечном итоге, становится сильнее любого другого правового регулирования.

Такая граница, собственно говоря, является модификацией фронта мирного времени, где, однако, между двумя сторонами тоже существует глубокое недоверие, но есть, по крайней мере, принципиальная тенденция сохранять *status quo*, поддерживать состояние парадоксального, перефразируя Канта, *вечного перемирия*, тип которого сложился, например, в отношениях двух Корей в течение нескольких десятилетий. Напротив, в рассматриваемом виде границы этого нет, а в устройстве соответствующего (при)граничного режима заранее заложена *продолжительная временность перемирия*. Такое *приграничное состояние* сначала возникает спонтанно, из-за сложившихся исторических обстоятельств. Понимая это, страна, будучи в состоянии продолжительного, неразрешенного конфликта с

соседом, так что режим их встречи определён формальным неразмежеванием, может реагировать путём преднамеренной институционализации пограничного пространства, где станет действительным особый *приграничный режим*, какого не будет в глубине ей подконтрольной территории. Этот режим будет не только касаться того, как пересечь границу с враждебной стороной – если что-то такое вообще предусмотрено – а особым образом устроит и всю жизнь в соответствующем приграничном пространстве. В отличие от принятого выражения *пограничье*, которым должно именоваться пространство на границе между сторонами, где отсутствуют явно враждебные отношения друг с другом, *приграничье* означает пространство, где наличествует именно усиленное конфликтное размежевание.

Один из наиболее известных исторических примеров институционального обустройства приграничного режима был дан Австрией, организовавшей в XVI веке так называемую «Военную границу», которая просуществовала четыре столетия. Там планомерно селили в основном сербов, покинувших захваченные турками сербские земли и готовых участвовать в военной службе в Австрии, прежде всего, но не исключительно, в ее боях и войнах против самой Османской империи. Подобная роль была предназначена для них после переезда в «Славяносербию» и «Новую Сербию», временных образований сформированных внутри Новороссии, нынешней Украины, куда они перехали именно из Военной границы, когда Австрия серьезно сократила некоторые из им первоначально предоставленных привилегий, с весьма реальной перспективой перевести свободных солдат в положение феодальных крестьян.

Самое название «Военная граница» в себе суммирует двойственную природу такого пространства – это и место, но и средство защиты от трансграничного врага. Вот почему житель Военной границы, охраняющий ее приграничник, является «фронт(ир)овиком» *замороженной войны*, которую, в соответствии с наличествующим стратегическими оценками, могут разморозить в любой момент. Особенность пространства Военной границы может быть дополнительно освещена с помощью короткой историческо-семантической ориентации. В частности, сербский перевод немецкого оригинального названия *Militärgrenze* (буквально: «военная граница») выглядит как Военная Краина (по-сербски: *Војна крајина*). А *крајина* на сербском языке означает приграничную территорию, где живут с оружием, с постоянно повышенной бдительностью из-за страха от близкого, всегда – по крайней мере в собственном восприятии –



угрожающего врага. Вот почему «краинец» (сербский: *крајишник*), житель порубежья, почти пожизненно, еще и солдат¹. Вкратце, существительное *краина* (есть даже и глагол *крајиновати* [«краинствовать»])², по большому счёту, лексическое воплощение самого *приграничного состояния* и соответствующего образа жизни. Краина, следовательно, становится пространством, а не просто линией, и этот самый термин не случайно свидетельствует о том, что граница «стала» достаточно широкой областью, что, так сказать, получила глубину – *глубину фронта*, т.е. междузоны-осадка, возникшей на почве отношения либо виртуально, либо актуально постоянного столкновения двух сторон. Явление второго *измерения* («толщины») границы делает визуальную разницу по отношению к ранее упомянутой, идеал-типичной, бесконечно тонкой линии «нормальной» границы между добрыми соседями³.

КРАИНА И ФРОНТИР

С точки зрения теории фронта эти два типа границ (Рибер, стр. 203) можно назвать «линейным и зональным». Обе эти концепции очень близки, хотя ряд отличий все-таки присутствует. В чем разница между фронтиром и краиной? Теория фронта несет следы того, что была создана американской наукой (Ф. Д. Тёрнер): фронт был частью американского исторического опыта, так что при теоретическом обобщении сохранены некоторые характеристики конкретного фронта. Описания фронта частично подходят и для описания теорией краины, как это хорошо показал П. Л. Карабущенко. Для него фронт «феноменологическое явление, характеризующее разрыв между системами и провалом структуры внутри самих систем», причем на их «разломе» возникает «сингулярность», т.е. «пространственно-временное искривление общественных и культурных законов» (Карабущенко, стр. 93), и поэтому он представляет собой совокупность «географических, культурно-исторических и психолого-политических аномалий» (Карабущенко, стр. 96).

¹ «Крестьяне на Военной границе были свободны, феодальные отношения были упразднены с того момента, как они согласились войти в эту территорию. Взамен, все мужское население, от 16 до 60 лет, подлежит набору и участвует в войне» (Екмечић, стр. 55-56).

² САНУ, стр. 404.

³ Вот именно почему Леопольд Ранке утверждает:

«Среди всех границ на земле нет ни одной разделяющей двух столь разных миров, как это делает австрийская граница с Турцией» (Ранке, стр. 335).

Однако если учесть, что фронтир, исходя из того же американского опыта, первоначально определяется и как «подвижная граница между варварством и цивилизацией» (Панарина, стр. 18), тогда вряд ли будет целесообразно пытаться объединить под одним понятием и пространство на рубеже цивилизации (*фронтир*), и пространство, которое находится в зоне враждующего соприкосновения двух или более культур / цивилизаций (*краина*)¹. Помимо того, что по ту сторону фронта отсутствует какая-нибудь сознательно действующая *цивилизация как таковая*, а краина является воплощением целенаправленной самозащиты двух сторон, иногда являющимся либо только зарождающимися, либо полноценными политическими субъектами, стоит так же отметить, что краина, с точки зрения интенции своей *институционализации*, может просуществовать достаточно долго. Фронтир, наоборот, не преднамеренный продукт цивилизации и, следовательно, не продукт институционализации, а, скорее, *симптом* неспособности ликвидировать его в данный момент, причем сохраняется намерение сделать это в обозримом будущем – интегрируя его в политическую систему прилегающей к фронтиру политию. Все эти четыре важных отличия между фронтиром и краиной, думаем, должны заставить нас четко отделить их друг от друга на уровне концептуальной семантики².

¹ «В расширенном значении фронтир есть устойчивое состояние конца и начала двух или более систем» (Карабущенко, стр. 94). Приведённая П. Л. Карабущенко, так сказать, антропология фронта/краины не только безупречна но и, на самом деле, показывает общее концептуальное содержание двух близких понятий:

«Человек фронта постоянно оказывается у края пропасти и постоянно вынужден бороться за свою жизнь и свои права».

«Пребывание 'у края' рождает неустойчивую деструктивную психологию, постоянно тлеющего бунта. Фронтир в этом плане есть 'у-краина' - ничейная территория, с ничейными людьми, ничейными (в плане организации и контроля) событиями, и ничейными (т.е. сомнительными) итогами (победами и поражениями)» (стр. 95-96).

Иными словами, неопределенность – это характеристика не только фактических обстоятельствах приграничного пространства, но и его внутренней «эпистемологии».

² Такие определения, в принципе, всегда могут подлежать критике также и потому, что здесь наличествует фундаментальное напряжение между научной потребностью в четком определении реальности и широким разнообразием отдельных случаев, которые должны вписываться в данное определение, несмотря на свое, иногда спонтанно оказывающее сопротивление каждой таксономии.

Так, к примеру, в одной совсем недавно опубликованной статье фронтир определяется следующим образом: «Поэтому мы понимаем фронтир вне зависимости от политической доминанты как зону контакта между одной культурой и другой.» (Якушенков, 2019, стр. 17). Т.е. если где-то отдельные культуры соприкасаются друг с другом, тогда это сразу фронтир? Если каждая зона контакта между двумя культурами действительно фронтир, тогда возникает вопрос: бывает ли нефронтирных зон межкультурного контакта? Следуя это определение – трудно представить, хотя



У С. Н. Якушенкова есть интересное определение фронта: «Фронтирная территория, максимально удаленная от центра...» (2016, 14). Расстояние от центра конечно в первую очередь не физическое, географическое – а ментальное. Поэтому и его максимальность в основном ощущаемо-воображаемая. В соответствии с этим фронт опосредуется отправной точкой центра, как качественное отклонение от него, причем жители фронтирного порубежья – не обязательно четко – осознают, как и существование, и ориентационную значимость этого центра для них, так и свою существенную удаленность от него.

А именно эта «центрореферентность» отсутствует у краины. Точнее, если кто-то другой, например, имперско-метрополийский субъект, устроит свою краину, вместо того, чтобы она спонтанно получилась в силу борьбы и достаточно продлившейся политической неопределенности, у него есть такая перспектива – потому что защита глубины своей территории защищает в конце и сам центр т.е. метрополию. Такая краина и есть дело самообороны метрополии. Но для самих краинцев такая перспектива не существует. Краина – это весь их мир, определяющий и их «краинскую» картину мира. Для них их мир, по видимости, автореферентный, «перифероцентристский» –

это кажется совсем контринтуитивным. Но тогда зачем такую зону называть фронтиром если «фронтиры» фактически почти повсюду вокруг?

А проблема, кажется, появилась из-за предпочтения Якушенкова уменьшить влияния (не)существующей политической системы в порубежных территориях на определение фронта («Мы не можем утверждать, что на всех территориях фронта была ситуация с 'неопределённым политическим контролем'») (стр. 16), поскольку бывали случаи в исторической практике где, по его мнению, политическая составляющая была не слишком значимой. Т.е. проблема возникла при, совершенно понятной, попытке включить в свою дефиницию все известные случаи «фронта» (или, по меньшей мере, фронтироподобных образований), независимо от степени их типичности – если на самом деле они вообще разные виды одного и то же самого понятия. Оказывается, если концептуальный горизонт данного понятия хочется расширять чуть дальше от его обычного использования, опираясь на самые известные исторические случаи фронта, тогда следует ответить: чем обоснованно такое «растягивание» термина - или где начинается поле, быть может, какого-то другого концептуального вида границы (все равно - теперь известного или неизвестного), конечно, если фронт не все что внутри научного сообщества, по каким-то причинам, конструируется как «фронтирное»?

Якушенков, в добавок, исходит от того, что уровень и характер политической (или «политической») институционализации с двух сторон фронта не имеет существенного значения для его определения, поскольку, как он утверждает: «не может быть фронта без встречи по крайней мере двух субъектов» (то же, стр. 16). Такое определение не просто проследить, потому что им уменьшается, если не и совсем отвергается культурная и коллективнопсихологическая зависимость коллективных актерах порубежья от уровня политической институционализации их (со)обществ. Т.е. здесь молча предполагается что они всегда должны быть так или иначе конституированы и следовательно рассматриваться как политические субъекты. Разве, например, коренные жители севера американского континента действительно были субъектами (если конечно понятие субъект не пользуется исключительно в дескриптивном смысле), было ли у них что-то государствоподобное, и можно ли вообще говорить о субъектности без достаточно развитого уровня институционализации и политической культуры, причем совсем не оценивая это с европоцентричной точки зрения?

хотя он по сути гетерореферентный. У них есть, часто на реальном опыте не опирающиеся, предположения об окружающем, «внепериферийном» мире, который им зачастую не совсем понятен, именно из-за их субъективной, в лучшем случае, только частично обоснованной автореферентности.

А если крайна не кем-то извне обустроена, а просто возникла из-за сопротивления могущественному государству, обычно государству-захватчику, так что на долгое время невозможно либо окончательно получить свободу и создать полноценное государство, либо быть невозвратно поглощенным и/или уничтоженным захватчиком (как например в исторической Черногории), тогда, можно сказать, субъективная перспектива крайнцев больше соответствует и объективному, автореферентному положению крайнского общества. Правда в картине мира черногорцев было что-то похожее на внешний референт. Это была Россия, скорее представление о ней т.е. воображаемая Россия, принимавшая даже *эсхатологические черты*. Но это не была реальная Россия, а просто дело их воображения, отражающее на самом деле негативным образом суть их ситуации т.е. их гетерореферент не был реальным, а идеальным. Из-за достаточно долго продолжающегося, почти безвыходного положения и сложился образ России как (слишком) далекой силы, которая, наконец, правда, непонятно когда, обязательно спасет их. Из-за этого надо выдержать еще чуть-чуть, пока братья издали не придут на помощь. И это продолжалось несколько веков... Вот откуда получилось такое странное русофильство исторических черногорцев – Россия должна была спасти их, как и Христос человечество.

ФИЗИОНОМИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ

Становление границы глубокой т.е. становление ее зональной, вместо линейной, очевидно, связано с определённым (при/по)граничным образом жизни. Приграничье, это не просто дело географии, а место, которое представляется как культурно-исторический «осадок» на соответствующем виде границы, где невозможно согласовать *пограничный режим*, основанный на *взаимном признании* двух сторон либо с точки зрения самого права на существование, либо касательно занимаемого противником пространства или даже в обоих смыслах. Здесь граница не является областью сотрудничества и даже, возможно, явного соперничества, такого как знаменитая граница на Рейне, поскольку изредка во время истории немецко-французских отношений открытые пограничные вопросы не ставили под сомнение их взаимное признание права на



существование. Более того, открытая проблема общей границы не тормозила процесс формирования их идентичности¹.

Следовательно, приграничье – это *культурно-экзистенциальная ситуация*, когда обладание границей не является только одной (неизбежной) фактической характеристикой культурного многообразия человеческого мира, внутри которого переход из одного в другой субъект, по крайней мере, не может остаться незаметным и безразличным, но, когда пребывание на границе или даже коллективное *границное бывание* одного сообщества выражает особый строй коллективной жизни – по ту и по другую ее стороны.

Смысл границы, преднамеренно задуманной и устроенной как непроницаемой – это не допустить неконтролируемое проникновение вражеской/врагоподобной «инаковости» в наше пространство, в нашу «плоть» либо из-за опасений от агрессивного вторжения, либо из-за спонтанного проникновения в наш духовный космос, что считается нежелательным, поскольку присутствие именно этого определенного

¹ В отношении (коллективной) идентичности кажется важным сделать несколько замечаний для предотвращения возможных недоразумений. Мы не рассматриваем индивидуальную, а тем более коллективную идентичность как дело данности, якобы равной некоторой фиксированной «сущности»; но все-таки мы считаем, что для понимания ее важным является определение Гуссерля:

«Идентичность предмета заключается в общей форме синтеза» (Husserl, p. 59).

С другой стороны, мы считаем, что вместе с неприемлимостью эссенциалистского гипостазирования идентичности, в равной степени недопустимо и сведение исключительно к акцидентальной идентификации, не говоря уж об утверждении об «обманчивом понятии 'коллективной идентичности'» (Бергер/Лукман, p. 279), как утверждают отцы социального конструктивизма, которые, а вслед за ними и многие другие, упускают из виду теоретический смысл понятия «апперцепции идентичности» (Husserl, p. 225), что, собственно говоря, очень далеко от какой-либо произвольной, «метафизической» конструкции.

Идентичность, конечно, не является неизменной и, с другой стороны, не является «чем-то», находящимся в состоянии непрерывного, всеохватывающего колебания. Понятие идентичности должно определить следующим образом:

«Чтобы поддерживать теоретическую парадигму идентичности, нет необходимости предполагать, что [в социальной реальности] единство как таковое [...] имеет перевес над многообразием, но только то, что несмотря на множественность и изменчивость [...] рассматривается в свете единства и целостности, кстати говоря неизбежное для целей нашей повседневной, не только теоретической ориентации - тем не менее, допускаются» (Kopriwitsa, p. 315).

Концепцию идентичности в теории следует понимать как регулятивное понятие, в смысле Канта, прежде всего, потому, что люди – индивидуально и коллективно – испытывают сильную потребность всегда иметь возможность дать ответ на вопрос о том, кем они являются. Именно поэтому, между прочим, часто бессильны «деконструктивные практики», как и «доказательства» логического позитивизма «бессмысленности» так называемых «метафизических» вопросов. Поэтому они не искоренили то, что Кант сочел как «апории чистого разума», «перенаправив» таким образом эти вопросы в область практической философии, а не в историю якобы роковых эпистемологических ошибок человеческого рода.

Другого вызывает чувство сильного дискомфорта. Ясно, что здесь взаимное восприятие конкретных сторон является решающим для определения соответствующего пограничного режима. Грубо говоря, если Другой воспринимается как неугрожающий, и особенно если дружественный, пограничный режим будет более релаксированным и мягким. В противном случае, когда градация *уровня инаковости* пересечет гипотетический предел чуждости, а в экстремальном случае даже вражды, будут предприняты усилия, чтобы устроить границу насколько возможно жёстче, поскольку в противном случае даже и в якобы мирные времена вся территория, защищаемая такой границей, может превратиться в пограничную зону, в какую-то фактическую, неинституциональную «военную краину». Тогда вся страна окажется в состоянии *постоянного чрезвычайного положения* – не в юридическом, а в культурно-психологическом смысле, в котором, между прочим, постоянная возможность использования силы, в том числе и оружия, будет делом повседневной жизни т.е. перевернутого «нормала». Вот почему Австрия и устроила Военную Краину как преграду от натиска Турции, чтобы все государство не превратилось в своего рода военный лагерь¹. Поэтому *краина*, с её отклонением от нормала, представляет собой защиту относительной нормальности за ней лежащих областей.² Поэтому реальная сила пограничного врага и страх перед ним решают, насколько продвинет в глубину своей территории чрезвычайный пояс «краины». В крайних случаях он может поглотить всю территорию, удерживая все общество в

¹ Помимо краинца, солдата-пограничника, есть еще две ему родственные фигуры: хайдук и ускок. Хайдуки (венгерское слово, т.е. гетероним) были членами небольших отрядов, воевавших в глубине оккупированной сербской территории против турок, что после провалов войн против турок XVI века с XVII века стало эндемичным феноменом имеющим место вплоть до освобождения последних турками захваченных земель в 1912. К концу оккупации, в конце XIX века, отряды хайдуков были «заменены» четниками, которые сражались по правилам партизанской войны того времени (в Косово и Метохии и Македонии). Ускоки, в свою очередь, были членами отрядов с австрийских и венецианских краин буквально выпрыгивавших (от глагола ускокити [вскочить] и получилось ускок [«вскок»]) на подконтрольную туркам территорию, нанося им вред любим способом и любой ценой:

«Основной целью нападений ускоков была Турция. В то время как другим краинским командам на земле Габсбургов было поручено отражать турецкие вторжения, ускоки постоянно устремлялись против неверующих: пираты в море и хайдуки на суше, фактически они жили на своем кровавом ремесле постоянно, грабя свою добычу. Турки были атакованы как естественный враг...» (Самарцић, стр. 293).

² Несмотря на всю пользу обеспечиваемую Военной Границей ее создателям, слабости краинской военно-политической системы были осознаны достаточно рано. Так в анонимной промемории из 1736 года хорошо информированный австрийский чиновник говорит, что «жители Военной Границы не должны жить в ней, а [должны жить] в хорошо обустроенном обществе.» (Екмечий, стр. 81-82).



состоянии постоянной осады¹. Такое общество тогда не является краиной устроенной со стороны кого-то другого, чтобы служить его интересам, а оно просто объективно-исторически оказалось в *краинском положении*, существуя – если не слишком тривиально утверждать – *своей краиной*.

Краина, то есть краинская граница, представляет собой *двойное пространство*: одно до границы, где живем *мы*, и другое за ее пределами, где существует радикально чужой Другой, с которым мы либо не имеем дела, либо враждуем, редко пересекая другую сторону, или, если мы и пересекаем это, мы делаем это, главным образом, чтобы проникнуть, вторгаться в его плоть, в его бытие. С этим радикальным Другим не так много «очередного» опыта, кроме очередных столкновений. Вот почему отсутствие «регулярного» опыта с зарубежьем должно компенсироваться воображаемыми конструкциями Другого. Таким образом, на краинской границе соприкаются не только две стороны, но и два пространства: реальное (и физико-географическое, и культурное) и воображаемое (не реальное пространство «дорубежья», а воображаемое пространство «зарубежья»).

Граница в таком случае является (внешней) линией разделения не только между (потенциально) враждебной или, по крайней мере, недружественной инаковости и нами, но также и в метафорическом смысле это (внутренняя) географическо-ментальная граница между нормальной и приграничной жизнью или типологически: *переходная форма* между мирной жизнью и *постоянной отсрочкой мира*. Когда начинается релятивизация восприятия трансграничных инаковостей как враждебных, или когда противник просто ослабевает, тогда перестают чувствовать необходимость военного приграничья, а затем начинается процесс его политической отмены и социально-

¹ Это похоже на пригранично-«краинский» способ экзистенции, что может быть хорошо видно на примере Черногории, изначально, примерно с половины XVII века, самоосвобожденной сербской территории, которая почти до конца своего исторического существования осталась зоной военного приграничья с Османской империей. Это изменилось только после победы в Первой Балканской войне (1912), когда границы Турции были отодвинуты далеко. Конец исторической Черногории положила Австро-Венгрия, захватив ее в 1916. Стоит отметить, что своеобразность опыта Черногории состоит в том, что она не была краиной против осман за счет кого-то другого – как в случае с Военной Границей – а в том, что она с самого начала возобновления традиции средневекового сербского княжества Зеты являлась, по сути, самозародившейся сербской краиной, которая в некоторый момент истории должна перейти в одно, все сербские земли охватывающее сербское государство. Но с самого начала постсредневековой черногорской территории к концу шестнадцатого века и вплоть до победоносной войны против Турции в 1876/77, Черногория, парадигматически, вела лишь крайне временно-приграничную экзистенцию. Черногорский исторический опыт это есть опыт радикальной контингентности повседневной жизни, бренности и ничтожности всего в повседневности настоящего, если оно не служит простому выживанию, т.е. избеганию невозвратного военного разгрома. См. (Копривица, 2014б)

культурного поглощения в остаток институциональной нормализованной территории данного государства. Именно это, как известно из истории, Австрия/Австро-Венгрия сделала с Военной краиной в середине девятнадцатого века¹.

Если говорить о *нормале*, т.е. о разнице между *нормальным* и *ненормальным*, то здесь следует сделать несколько замечаний. На семантическом уровне, эти слова используются по причине их понятности, что их делает подходящими и из соображений экономичности – вопреки известным концептуальным, не раз, в том числе и вполне оправданно, выдвинутым претензиям к ним со стороны теории, особенно философской. Мы будем пользоваться ею *условно*, на *рефлексивно-понятийном уровне*, из-за внятной разницы между внеочередно-ненормальным состоянием войны и очередно-нормальным состоянием мира, хотя такая концептуальная разница по большому счёту подлежит деструкции. Однако не подлежит полной релятивизации разница между враждебно-военным и ему противоположным состоянием *с точки зрения повседневной жизни*, которую, кажется, надо считать неизбежной, по меньшей мере, в первом приближении, в одном *феноменологическом* исследовании, причем, не отказываясь от необходимых поправок претеоретического восприятия проблемы. Одна из самых главных из них это утверждение, что разница мир/нормальное/очередное – война/ненормальное/внеочередное совершенно не безусловная, друг друга исключаящая, или, в математических терминах, *дискретная*, а скорее континуальная, причем в некоторых промежутках, при накоплении количественных отличий в достаточной степени, ее начинают воспринимать как качественную, подобно, например, так называемым вторичным качествам в гносеологии.

С другой стороны, хотя первичное использование этого различия в нашей статье принципиально рефлексивно, т.е. имеет место на аналитическом метауровне, стоит заметить, что даже и на объективном уровне можно говорить о его восприятии, т.е. о его осознании.

На первый взгляд кажется, что сообщества, живущие из поколения в поколение в военном или подобном военному состоянии, с некоторого момента даже теряют возможность видеть разницу

¹ Такое решение между бывшими приграничниками было принято с недоверием, поскольку Военная краина – как бы странно это не звучало – была своего рода броня для и от их непривичной жизни мирного времени в останке Империи. Ностальгия по «краинству» и соответствующая историческая память нашла выражение в почти полтора столетия потом сформированной Республике Сербской Краине (РСК), непризнанном государстве хорватских сербов, просуществовавшем всего четыре года (1991-1995), до уничтожения хорватским вторжением, когда, при содействии международного сообщества, было изгнано около четверти миллиона сербов из РСК.



между военной и мирной жизнью, и, тем более, между очередным и внеочередным. Но на самом деле это не совсем так, поскольку у них всегда есть и повседневный опыт общения с неприграничными территориями, что само по себе способствует релятивизации их доминантного жизненно-исторического опыта как для них якобы единственного воображаемого. Более того, несмотря на осознание собственной объективной невозможности, жить по-другому по причине особенности их ситуации, в принципе несравнимой с ситуацией неприграничных сообществ, они могут испытывать тяготение к такой жизни. Т.е. границы их ситуации, как *приграничной*, не становятся для них даже и ментально вряд ли преодолимыми, несмотря на факт, что со временем их взаимодействие с окружающей средой, иногда даже и с самим трансграничным врагом, влияло на их быт, нередко и ментальность – но, как правило, не на релятивизацию своего образа «вечного» врага и, соответственно, своей неминуемой задачи ему сопротивляться.

Они хотя и испытывают, осознают и принимают невозможность изменить образ жизни, по крайней мере, в обозримом будущем, иногда все-таки по-тихоньку надеются на другую, невоенную, т.е. «нормальную» жизнь. Таким образом, несмотря на свое фактическое нахождение в одном мире с ему соответствующим образом и пониманием жизни, они, хотя бы и ментально, могут пересекать «границу» такой жизни и такого мира с Другими в постоянной тревоге¹. Таким образом, приграничник может – но не обязательно должен – оказаться «жителем двух миров»².

Продолжительная, а в случае Военной Краины многовековая, жизнь в состоянии повышенного экзистенциального «чувства» временности, порождает определенную культурно-ментальную специфику, так как между двумя враждующими субъектами, живущими вопреки всему в относительном нормале, появляется *третье, пограничное культурное межпространство*, в котором качество повседневной жизни значительно уклоняется от привычного для неприграничных обществ. Этот эффект еще больше усиливается,

¹ Примером, не и единственным, такой двойной экзистенции является поэт сербского приграничья, владыка Петар Петрович Негош (1813-1851). См. (Копривица 2014а)

² Сам Негош, несомненно исходя из рефлексии обстоятельств своей жизни, особенность ситуации приграничника показывает, сопоставляя фиктивные слова монаха из Черногории и русского князя: «- князь Долгоруков: Бывающим нам в мире широко| мысли ломают головы беспощадно.| А зачем бы вам разбивали| в таком местечке, узком? – Феодосий Мркочевич: [Именно] В тесноте думать нужно,| а наши с тобой мышления разные.| Ты все думаешь от хорошего к лучшему;| а то лучше, если тебе и уйдет,| [только] хорошее в зло обратится,| мышление это поистине смешное.| А я думаю, от злого к худшему;| злое переношу - беспокоясь о худшем» (Самозванец Степан [Шчепан] Малый; наш перевод).

если приграничный элемент и в остальном является культурно-религиозным гетерогенным по отношению к окружающей среде, как пограничные сербы Военной Краины были четко отличны от римско-католических австрийцев и венгров или мусульманских турок и их поделщиков, исламизированных сербов¹. Но даже если нет никаких первоначальных культурных различий между приграничниками и соседними народами, которые не живут в пограничном режиме, продолжительная жизнь в условиях чрезвычайного положения, имеет, как следствие, *незавершенность культурной идентичности*, что в результате производит принципиально *иную форму социума*², характерной чертой которого является не очень четкое понимание его представителей того, кто они такие, неустойчивость коллективного самосознания, что у данного коллектива в конечном итоге вызывает невозможность достигнуть социально-исторического «совершеннолетия». Однако хаотичность при формировании идентичности, отрицательная в нормативном смысле, структурно

¹ Между прочим, и по другую сторону границы жили пограничники, которые сами считали себя жителями «краины» – по-турецки сэрхат (serhat). Это были исламизированные сербы Боснии, Герцеговины, Черногории и сегодняшней Сербии, которые себя самым решающим образом идентифицировали с Османской империей. Турецкая краина была институционально обустроена в 1580 году и просуществовала она до XIX века. Почти бесперерывная война христианского и мусульманского мира сначала и в первую очередь всегда имела место как межкраинская война христианской и мусульманской краины, т. е., в случае Балкан: христианских и мусульманских сербов.

² Примером этого является процесс этнографическо-лингвистического отделения части восточнославянского населения, исторически живущего в пространстве между российским, турецким и польским империями государствами, что со временем создало предпосылки для появления сначала фактических различий, а потом, с возрождением современного национализма, и для частичного удаления русских и «украинцев» и на уровне коллективного самосознания. Тому, однако, способствовали преднамеренные усилия по созданию национального *corpus separatum* на Украине, изначально польского, а затем австро-венгерского. Но наличие отдельной исторической жизни и разницы в специфике соответствующих жизненных ситуаций двух групп одного происхождения - приграничников и «других» - не должно нужным образом вести к их отдалению. В том числе можно вспомнить историю здесь уже упомянутой Черногории, создавшей, вопреки особенности ее исторической ситуации, не только не-сербское, а именно в высшей степени сербское самосознание, даже весьма специфичный мессианско-эсхатологический национализм, суть которого заключалась в том, что на почве хранения памяти о христоподобном жертвоприношении сербского народа, поданном в битве на Косовом поле (1389) против османов для всего христианского мира, необходимо развивать национальное движение за освобождение всех сербов и их объединения в единое государство, дабы наконец аннулировать все последствия поражения в XIV веке. Последующие исторические события (официальной) Черногории, начиная с политического поворота в 1997 году к Западу, ориентацией на образование национальной «самостоятельности» (2000) и создание «независимой» Черногории (2006), являются преимущественно последствием не только прямого иностранного вмешательства, но геополитической установки, устроенной Западом, и с такой Черногорией она историческая не имеет ничего общего. см. (Копривица, 2016)



может занять место позитивного определения содержания идентичности приграничного сообщества¹.

В то время как с разных сторон «стандартных» границ, где не генерируется режим приграничья, есть только два субъекта, с приграничными областями ситуация чуть сложнее. Там присутствует три идентичности – две культурно-политические консолидированные, как правило, имперские, посягающие через границу на другую империю и на «области без государств» (*herrenlose Gebieten*)², причем эти амбиции сталкиваются на территории третьего, так сказать – *не-*

¹ Последствия продолжительной временности пребывания в состоянии незавершенности идентичности не всегда могут быть легко удалены, когда, наконец, возникнут благоприятные условия для коллективной консолидации приграничного сообщества. А именно, невозможность своевременного окончания этих процессов, в формативном периоде создания коллективной идентичности сообщества, - которые, конечно же, отличаются в различных этнических сообществах, но все-таки каждое ее имеет – может привести к ситуации постоянного отсутствия подлинно сформированной коллективной идентичности общества. Это с внутренней точки зрения такого сообщества можно воспринимать как серьезную коллективную травму, что может впоследствии склонить ее политико-культурную верхушку к необычным, иногда даже радикальным действиям, направленным на искусственное завершение формирования коллективной идентичности. Таким образом, тут планомерным конструированием идентичности общества хочется компенсировать то, чему реальное движение истории не позволило завершиться спонтанно, как обычно оканчиваются процессы формирования коллективной идентичности народов. (Одним из ярких примеров является южнославянская Македония, а в последние годы похожие, но тоже не такие радикальные, попытки также заметны и в Беларуси).

² Выбрав чуть другой теоретический подход, Евгений Пономарев приходит к следующим выводам по той же самой теме:

«Литературное перемещение стало механизмом преобразования чужого пространства в свое. Присоединением неопредлившееся пространства к империи. При этом любое неимперское пространство воспринимается как неопредлившееся, и потенциальные границы империи не оканчиваются нигде».

Стоит добавить, что для «настоящей» империи поводом для акции становится не только имперская неопределенность какого-то пространства, но и факт сосуществования другой империи, поскольку

«[и]мперскую составляющую этой темы помогает обнаружить [...] презрение ко Второй империи (как и империя Наполеона I, империя Наполеона III – недоимперия)» (Пономарев, стр. 43, 40).

Недоимперскость не характерна только для Франции XIX века, если смотреть из российской точки зрения:

«Австро-Венгрия [...] воспринимается русским общественным сознанием как недоимперия» (стр. 39).

Но, здесь не столько важно то, как в определенное время в империи воспринимают других (псевдо)имперских «кандидатов», а в том, что «настоящая», т.е. идеаль-типичная имперскость не может долго терпеть «соимперскость», исторических примеров тому можно привести множество. Конец такой имперской склонности положило появления «реальной политики», пришедшей на место имперской, отчасти даже и эстетизированной «идеальной политики».

субъекта¹. Факт нахождения между, по меньшей мере, двумя сверхмогущими, друг с другом спорящими игроками, третью, недостаточно сильную сторону, переводит в специфичный тип исторического хронотопа, который мы назовём длительной временностью приграничья.

Быть временным образом значит постоянно жить в состоянии несформированности коллективного самосознания, быть, так сказать, вечным «подростком истории», причем и не «вечно молодым», поскольку такая жизнь порождает специфичные, *мутировавшие формы идентичности*. Жизнь в таком состоянии может быть описана как, если парафразировать хайдеггеровскую «заброшенность в мир», *зброшеность в историю*, в частности в такую, в которой происходящее в *приграничном сообществе* всегда определяется кем-то внешним, другим, гораздо более мощным. Историю, охватывающую такое сообщество, в принципе оно почти не создает. Так и получается, что области приграничья нередко очень «богаты историей» от их существования неотделимой, поскольку другой у них просто нет, но историей, как бы ни странно это прозвучало, для них в определенном смысле вроде бы и чужой². Так и получается, что приграничные сообщества в некотором смысле чужаки в истории.³

¹ Фронтир, а *mutatis mutandis* и краина, «неспособен создать свою собственную субъектность». (Манан, стр. 86).

² Здесь, совершенно неожиданным образом, имеется сходство с ситуацией так сказать внутренних чужаков – нпр. евреев внутри Российской империи, и не только:

*«Еврей [Владимира] Жаботинского был классическим *titic tap* современной постколониальной теории, лишенным собственной истории, языка и потому немым ('can the subaltern speak?'). 'Со дней Бар Кохбы, - писал Жаботинский, - мы больше не принимаем никакого активного участия в нашей собственной истории', все события вокруг происходят 'не по нашей воле и даже не нами вызываются'. [«Герцль: Идеалы, тактика, жизнь». Ч. II, Еврейская жизнь № 3 (1904), стр. 1-27, здесь 21]» (Могильнер, стр. 188).*

Конечно, здесь, по понятным причинам, речь вообще не может идти о «немоте» евреев – они говорят, даже не стесняясь, но, правда, внутри ими не созданного образа культуры. В отличие от них, голос сербов при оттоманской оккупации совсем не слышен, как внутри Оттоманской империи, так и вне ее, за исключением разве что сербской героической эпике, занимающей при таких условиях вполне маргинальное место, но, как мы увидим ниже, сыгравшей решающую роль в возврате сербского «голоса» в историю. Главные топосы сербской эпике: сон о свободе, о возрождении государства, и образ турецкого архиврага. По понятным причинам, при условиях достаточно жестокой турецкой оккупации этот голос, призывающий на сопротивление и войну, был слышен только в частных домах – до какого-то востания или войны. Еврейский голос – это дело сохранения завета предков и продолжение принадлежности принадлежности иудейской религии, а потом, при появлении светских евреев, и еврейской культуры - вместо того, чтобы принять перспективу вокруг преобладающей, нееврейской культуры, т.е. этот голос призывает только на *Kulturkampf*, а не на реальную борьбу.

³ Иногда в таких местах рождается отвращение к истории, что является психологически явной реакцией на неудобство жизни в «нашей» истории, которая, однако, на самом деле не такая-то и наша.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИГРАНИЧЬЯ – ПОСТПРИГРАНИЧЬЕ

Но на этом тема имперского вмешательства в дела приграничья не исчерпана. Особое геополитическое значение таких областей обратно пропорционально ценностям, воле, и, наконец, самой жизни их жителей. Чтобы установить контроль над приграничными зонами, империи должны управлять населяющими эти зоны людьми и, среди прочего, путем управления их сознанием, что в «богатых историей» областях означает манипуляции их исторической памятью – причем изначально чужих, а только потом и домашних элит. Таким образом, вместо того, чтобы динамика процессов памяти и забвения, по крайней мере, частично происходила спонтанно, основываясь на внутренней культурной динамике *приграничного сообщества*, она управляется почти исключительно извне – через имперский интерес и имперскую стратегию¹.

Область сербских земель после относительно продолжительной исторической цензуры времен Югославии от этапа латентного исторического постприграничья сейчас снова движется в сторону бывшего *состояния приграничья* из-за невозможности консолидации культурного образа и государственно-политической идентичности соответствующих данному обществу, что способствует продолжению, перефразируя Канта, *положения несовершеннолетия* и социума, и его элит. Склонность к смене геополитического дискурса внутри государства тем более заметна на фоне 200-летней пророссийской ориентации со времен самоосвобождения.

Стоит заметить, что разница между приграничным, имперским и, так сказать, не имперским, но все-таки и не маргинальным сообществом на понятийном уровне достаточно четкая, однако, вырабатывается в течение истории, так что даже некоторые сообщества (государства), которые мы считаем имперскими,

¹ Чтобы консолидировать завоеванное пространство, империи в силу описанной незавершенности, должны прибегнуть к процессу преднамеренного формирования коллективной идентичности. Так, например, австро-венгры пытались создать так называемую «Боснийскую идентичность» на территории Боснии и Герцеговины после ее оккупации в 1878 году и аннексии 1908 года. См. (Кралячић, 2017). Судя по дальнейшим событиям, попытка не удалась, поскольку на этой территории большая часть жителей не только эмоционально-символически не отождествляет себя с государством (провозглашенным в 1992), но даже «боснийская» идентификация в послевоенной Боснии и Герцеговине вызывает большую неприязнь христианского большинства. Часть населения, отождествляющая себя с расстроеной государственно-культурной идентичностью данной области, делает это через ислам, который наравне с православием и католицизмом, является одной из трех основных религий на этой территории. Однако тот факт, что конструирование пространственно, а не этнически обоснованной идентичности разделяет жителей, вместо того, чтобы их соединять, является верным знаком не только предыдущих, но и будущих неудач в консолидации политического «боснийства».

становятся таковыми, подавляя постепенно свое изначально гео-исторически маргинальное положение. Самый яркий пример такого рода представляет собой Россия¹.

Жизнь-на-границе или бывание-на-границе определяет приграничную экзистенцию таким образом, что она не может вести повседневную жизнь стабильно и относительно обеспеченно. С другой стороны, поскольку приграничники привыкли к соответствующему укладу быта, они иногда предпочитают жить в условиях приграничья, даже если и далеко от домашних краев – если альтернативой является отмена привилегий, предоставленных свободным воинам, что впоследствии большинство из них сделает обычными крестьянами.² В *приграничной коллективной психологии*

¹ «[М]осковское государство, а впоследствии и Российская империя, долгое время оставались классическими примерами пограничных обществ (*frontier societies*), то есть обществ с открытыми границами, которые долгое время не могли быть четко определены и эффективно защищены. [...] Московское государство сразу, начиная с XIV–XV веков, складывалось как пограничное: его южные и восточные рубежи не могли быть четко обозначены. [...] Однако, неопределенность границ имела и другую сторону: отсутствие суверенных государств на восточных и южных окраинах постоянно влекло московских царей к экспансии и завоеванию новых земель. Начиная со второй половины XVII века власти Московского государства вырабатывают новый стратегический подход и вкладывают огромные капиталы в постройку укрепленных оборонительных линий в степи. Вначале эти линии были предназначены для защиты местного населения, но впоследствии их возведение стало устойчивым методом колонизации новых земель» (Ходарковский, стр. 105-106).

Россия сначала была пограничным обществом с открытыми границами, что сделало ее и незащищенной, а, следовательно, и в уровне культурной идентичности незавершенной. Стремясь защищать себя, она в течение времени должна была все больше заботиться о своих границах, что вовлекло ее, наконец, в процесс имперской экспансии, несмотря даже на имперскую идеологию Третьего Рима. Таким образом, вся первоначальная «Московия»/Россия была, так сказать «украиной», стремящейся преодолеть свое весьма некомфортное пограничное положение. То, что сейчас называется Украиной, это такая часть первоначальной Руси, не успевшей, в силу утраченного исторического времени и извне навязываемых альтернативных образов идентичности, консолидироваться в рамках государственно-культурных и идентитарных границ Руси. Поэтому можно сказать, что нынешняя Украина – исторический остаток первоначального «у-краинства» всей Руси – как характера ее реального исторического положения, образа общества, отчасти и ментальности, но не в смысле модной сейчас в Украине, националистическо-ревизионистской трактовки, согласно которой современное украинство является прямым, если не и единственным «законным» наследником Древней Руси.

² Причем самое главное для них не была возможность участвовать в военных столкновениях со турецким врагом, а с тем связанный образ жизни – не только воинов, а целого приграничного общества. Из-за это ассоциации военной службы и образа жизни возникли два восстания против Австро-Венгрии в приморских частях нынешней Черногории (Бокельские восстания 1869 и 1881 годов), находившись тогда под оккупацией Габсбургской монархии. Причиной события была попытка властей навязать вербовку в австро-венгерскую армию для молодых мужчин, при условии отмены привилегий предоставленных им еще в 1718 году, при правлении Венецианской республики. Согласно соглашению венецианцев и сербов из приморья, кроме социальных и экономических удобств, у них была военная обязанность только защищать границу своего края с турками. Причем только часть их территории имела общую границу с турками захваченными краем, а остаток границы разделяли с Черногорией, фактически независимым приграничным обществом. Т.е. они частично являлись вторым эшелонм настоящей краины. Отмена этих привилегий, предоставленных совсем другим государством, была причиной восстаний тех же



доминирует *эндемическое чувство лишенности* надежной жизненной почвы, которое может сохраняться не только у одного поколения, но и передаваться следующим, став *жизненно-исторической константой*. Это порождает чувство, что нет ничего надежного, а область-источник угрозы находится не только за конкретной границей, но и повсюду. Если Хайдеггер говорит, что то, чем экзистенция, в конце концов, озабочена, равно ей самой¹, тогда приграничная экзистенция тем более соответствует этому определению, поскольку она не знает безопасной зоны своего присутствия в истории; для нее нет ничего достаточно стабильного за «спиной», что бы ее поддерживало и, так сказать, «страховало». Вот почему неопределённость – это не только характеристика областей, в которых отсутствует безопасность, но и то, что приобретает психо-ментальные качества и, наконец, идентитарные черты.

Поэтому можно сказать, что приграничность, как название для определенного чувства жизни, является формой личного и коллективного существования, в котором социально-государственное пространство долгое время остается неконсолидированным, чего нет в неприграничных зонах. Все это порождает *культурную аномалию приграничного типа* – и индивида, и сообщества. Жизнь на территории глубокого приграничья никогда не может быть полностью стабильной, потому что страх перед врагом создает глубинное *коллективное ощущение постоянного беспокойства*. В этом состоянии восприятие угрозы (со стороны) враждебной инаковости структурирует чувство повседневной жизни и географически, и ментально. Более того, тень ощущения временности, либо неосознанно, либо наполовину осознанно, падает на все, на что человек-приграничник направляет свои усилия, так как, в конце концов, всегда есть своего рода знание о бренности и эфемерности человеческих надежд, дел. Все может быть разрушено почти в мгновение, если хотя бы раз граница-фронт не выдержит натиска врага, и он проникнет внутрь, в глубину – *в нас*².

Поэтому совокупную жизненную ситуацию индивида и сообщества в приграничье можно описать как состояние *постоянной*

самых приморских сербов против Австрии в 1804, Франции в 1813 (при содействии Черногории и России) и опять против Австрии в 1848.

¹ «Перед-чем ужаса есть все-таки уже 'вот' (Da), само присутствие (Dasein)» (Хайдеггер, стр. 384).

² Так и можно объяснить почему каждый раз после, либо частичных, либо окончательных поражений австрийцев (1690 – Первая великая миграция сербов, 1739 – Вторая великая миграция сербов, 1791) сербы, сражающиеся на их стороне, десятками тысяч бежали перед турками. Раньше не раз накапливаемый опыт массового истребления не допускал риска ожидать захватчиков. Тоже самое повторилось и в XIX веке, в 1813, после разгрома с 1804, в почти непрерывных битвах просуществовавшего сербского повстанческого государства.

коллективной пограничной ситуации, в определенном смысле аналогично трактовке Карла Ясперса. Отличие толкования границы немецким мыслителем в том, что она, в основном, метафорически означает нахождения на пределе – первично как испытываемого, из-за/ после чего начинается нечто либо невыносимое, очень нежелательное, либо даже сама пропасть. Для нас, в этом анализе она представляет конкретную, наглядную границу, поскольку двух итогов приграничной ситуации – и как выживание, и как пропасть – реально репрезентирована противостоянием на одной конкретной границе как *двойное приграничье*. Иными словами, нахождение на границе с «архиврагом» символически «повторяет» двойственность постоянной альтернативы выживания и пропасти – типичной для своей *граничной ситуации*. В силу этой специфики оказывается, что у приграничника, нет «запасной позиции» не только в военном, но и в экзистенциальном смысле. Для него отступить значит, возможно, исчезнуть из родного пространства, а иногда даже и целиком потерять свое имя и утонуть в исторической анонимности. Из-за этого в приграничье господствует неконсолидированная культурная идентичность, а чувство временности порождает культурную несовершенство, *постоянное Еще-не*.

Знание, что битвы и бои, которые постоянно надо вести и нельзя проиграть или, по крайней мере, проиграть не окончательно, определяет приграничную экзистенциальную настроенность, в которой все попадает под удар предчувствия-озабоченности, вызванного постоянной угрозой *кардинального события* – полного военного поражения от («заклятого») врага. А если у экзистенции в нормальном режиме (вспомним Хайдеггера) во всем, что делается в жизни, «интонирует» знание о собственной смерти, то у приграничной экзистенции – страх перед тотальным военным поражением, способным привести к культурному и/или физическому исчезновению, как и происходило в не одном участке исторического проживания сербов и других бунтующих против турков народов¹.

¹ Вот как ситуацию после поражения в Мохаче (1526) в тыле южной Венгрии, где в основном жили сербы, описывают современники:

«Пока император [Сулейман] со своей армией рвался к Буде, акинджы [конница] бродили в сторону от дорог, чтобы захватить и уничтожить народ. Поскольку им больше некуда было спрятаться, потому что они [турки] постоянно были на следу, крестьяне находили свое последнее пристанище в барастинах или опрокинули бы свои колы и сопротивлялись насмерть. И если бы они потеряли всякую надежду [на избавление], они убивали бы собственных детей [чтобы избавить их от гораздо более жестокой смерти от турецких рук] и с женой за собой на коне полетели бы среди турок, чтобы умереть смертью героев'. [...] Местечко Бечей [нынешняя Сербия], на правом берегу реки Тисы, окруженная колами, глубокими курганами и защищенная повсюду болотами, пожертвовала себя со всеми



К тому же для приграничной экзистенции повседневное отношение к смерти – его собственной, его близких, «собойцев», соотечественников – находится в полной тени озабоченности от ожидания тотального военно-жизненного поражения. Поэтому всегда возможная, неожиданная, насильственная смерть тут «нормализуется», входит в «поры» всех жизненных отношений. Такая *субституция главного объекта экзистенциальной заботы*, делающей смерть явлением второй степени, образует весьма особый тип экзистенции, для которой повседневный героизм является предусловием голого выживания, героической *conditio humana*, а потому вроде бы делом вторичной «нормальности».

Приграничье обычно возникает между империями как центрами, совершающими настолько сильное влияние в пригранично-периферийных районах, что складывается впечатление, будто происходящее там, по меньшей мере, лишь частично обусловлено местной культурной динамикой. Пребывать в Приграничье – значит быть в значительной степени определённым кем-то или чем-то другим, не иметь возможности вести самостоятельно собственную жизнь, находиться в области *эндемической гетеродетерминированности*, лишённой *автохтонной культурной динамики*. Возникновение Приграничья обусловлено сталкиванием, по меньшей мере, двух взаимно противоположных имперских центров в некоем пространстве, это определяет условия формирования идентичности внутри него, так как конфликты между этими центрами надолго остаются без окончательного решения в пользу любой из них.

женщинами и детьми. Побеждая и громя его своей яростью: 'Турки пролили больше крови, чем под всеми венгерскими оплотами вместе, и потеряли там более выдающихся старшин, чем на поле при Мохаче'» (Самарцић, стр. 139).

«Сербское государство и сербский народ, в отличие от любого другого на Балканах и в Подуванье, не быстро и не легко уступили этой силе: от битвы на [реке] Марице в 1371 году. Сербь постоянно сражались с турками вплоть до смерти их последнего деспота Павле Бакича 1537 и оккупации Буды в 1541 году [имеются в виду только продолжения средневековых столкновениях, но не и последовавшие войны, начав с Банатским восстанием сербов уже в 1594 году – Ч. К.]. Последствия таких отношений были многократно судьбоносными. Империя Османовичей в целом и каждый хороший турок индивидуально создали отталкивающее, недоверчивое и в конечном итоге враждебное отношение к сербам» (стр. 13).

«Сербское имя в Турции считалось синонимом мятежника, предателя и свехпредателя по отношению к Османской империи. И этот переход в [национальную] анонимность, [отказ] от всех событий в общественной жизни Турции, для многих мест и поселений, означал исчезновение из этнического, социального, исторического и культурно-национального сообщества сербского народа под влиянием и много новых принудительных, негативных факторов в общем развитии обстоятельств в Турции от конца восемнадцатого века. Это явление особенно усугублялось давлением и физическим истреблением...» (Стојанчевић, стр. 12).

Поэтому *глубокое Приграничье* – это вторичное явление долго длящейся невозможности урегулировать споры сверхдержав по поводу их первенства т.е. «права» владеть данным приграничным пространством, дабы впоследствии безвозвратно его абсорбировать в один из имперских «организмов». Именно *неопределенность государственной* принадлежности таких, обычно межимпериальных, переходных зон обуславливает появление *незавершенности как специфики идентичности приграничья* – на разных уровнях.

Само существование Приграничья является последствием имперско-центристской истории как побочный феномен невозможности разрешить спор между имперскими акторами по поводу первенства в данной приграничной зоне, что превращало ее абсорбирование в некий имперский организм. Иногда указанная экзистенциальная настроенность, свойственная Приграничью, может сохраниться и после отмены межимперского положения таких областей. В этот момент Приграничье в историческом смысле переходит в *постприграничную фазу*, причем идентичность соответствующего культурного пространства в некоторых важных аспектах по-прежнему остается незавершенной. В связи с этим стоит отметить, что большинство национально-культурных сообществ Юго-Восточной Европы в большей или меньшей степени находится в состоянии, которое можно описать как *продолжительный синдром постприграничья*, несмотря на то, что историческое состояние их нахождения между напрямую враждующими империями отменено. Но наличие самостоятельных государств на пространствах бывших приграничных обществ не устранило все серьезные недостатки, вызванные их продолжительной исторической жизнью в состоянии приграничья, что, в первую очередь, отразилось на специфике их культурной идентичности, уклада социальных институций и ментальности политических элит. Суть такого положения можно охарактеризовать не как избавление от недостатков, а как их мутацию и петрификацию. Это и есть «синдром» потому что такое уклоняющееся от нормала состояние совсем не дело какой-то невинной «культурной специфики», а *абберация* затрагивающая саму суть образа соответствующей идентичности.

Мы, если возвратиться к конкретике, не должны забывать, что процесс межимперского состязания для контроля пространства возобновлен после расчленения Югославии, разрушенной, кстати, преимущественно усилиями политической верхушки Запада (Гуськова, 2001 и Пономарева, 2010). Поэтому можно сказать, что в



некотором, причем достаточно значимом, смысле эта область возвращается к реалиям и реляциям девятнадцатого века¹.

ПЕРИФЕРИЯ И ПРИГРАНИЧЬЕ

Может показаться, что периферия и приграничье являются идентичными понятиями. Однако необходимо различать два культурных типа периферий – активную и пассивную. Приграничье – это пассивная периферия, которая не справляется с вопиющим неравновесием между степенью и значимостью внешних воздействий на ее жизнь и тем, что она может сделать для себя и от себя. Приграничник обычно является, так сказать, убежденным *скептиком перспективности (собственной) практики* – того, имеет ли вообще смысл лично проявлять какие-нибудь далеко идущие инициативы, поскольку опыт – причем не только его личный, но и исторический, собранный поколениями его предков – прекрасно научил его, что от его усилий, воли, желаний мало, что зависит, за исключением, в лучшем случае, простого выживания. Он просто привык, что его существование будет *чужим объектом*, а его «судьбу» будут создавать и решать другие. Иными словами, он *лишён субъектности* (по меньшей мере, политической) – и как способа самостоятельно, без существенного вмешательства извне определять собственный быт, и как выражения своей сформированности, в том числе и в виде институционализации коллективного существования. Дело в том, что в приграничье социальные институты либо находятся в рудиментарном состоянии, либо определены доминирующей, чужой державой, так что преимущественно работают на чужие интересы, а не в пользу приграничников. В силу того инициативы приграничников в основном неформальны – как инициативы их *сообщества*, а не управляемого чужаками *общества*, обычно несут реактивно-оборонительный характер.

Таким образом, приграничье является периферией, оказавшейся в состоянии коллективной пассивности из-за явного интереса к данному району крупнейших мировых центров-метрополий, направляющих планомерно свои усилия к областям, неотделимым от их

¹ Интересную вариацию на эту тему можно найти у Дэвиса:

«XXI век до сих пор показывает, что человечество по-прежнему пребывает во власти этой психотической склонности. Очевидно, что психопатология историзованной жизни характерна для пограничной ситуации между последствиями прошлого и ужасом: симптоматический опыт, который с особой остротой проявляется на рубеже веков. Отзвуки застарелого озлобления, оставшегося от прошлых конфликтов и усиленного историей, не смолкают и в последующих веках» (Дэвис, стр. 362).

геополитических интересов. Приграничье – это пространства, где сходятся зоны «излучения» разных государственно-имперских центров, так что, даже если некоторые уже находятся под контролем имперских держав, постоянное «трансграничное» влияние амбиций и/или вторжений других империй не позволяет закрепить контроль над ним, что, следовательно, мешает домашнему населению довести до «естественного» конца процесс *кристаллизации коллективной идентичности*. Междубывание (*Dazwischen-sein*) и бывание-пока... – это формальная характеристика и повседневной жизни, и идентичности приграничников. Поэтому, при необходимости, а в соответствии со сложившимися обстоятельствами такой тип человека способен по своему усмотрению и индивидуально, и коллективно, изменить свою нынешнюю идентификацию, как и религиозную, и национальную, и, так сказать, «государственную веру». Таким образом, для некоторых приграничников *отступничество* является постоянным спутником, как последствием незавершенности идентичности и, вследствие, исторической незрелости приграничных сообществ.

Области, для которых характерна такая ситуация, как правило, не являются географически маргинальными районами т.е. географические окраины и культурно-онтологическо приграничье часто расходятся. Более того, от Балкан, через Украину (вопреки ее имени)¹ до Кавказа расположенное *длинное, глубокое приграничье Европы* проходит через те области, которые не только географически не маргинальны, но именно благодаря их коммуникационной,

¹«И в геополитическом, и во внутривосточном отношении Малороссийское генерал-губернаторство все больше превращалось из оспариваемой окраины между Речью Посполитой, Османской империей и Россией во внутреннюю часть Российской империи...» (Миллер, стр. 59).

«Украина не только в русской, но во многом даже и в украинской культуре (вплоть до современности...) стала локусом смешения и затрудненного различения 'своего' и 'чужого' и, таким образом, сохранила свой 'пограничный' статус, которого она после ликвидации автономии Гетманщины не имела политически» (Эткинд et al, стр. 26).

Иными словами, этот край смог получить название «Украина», название очевидно несвязанно с каким-то этнонимом:

«С точки зрения Москвы, границы эти были 'государевыми украинами' на которых стояли 'государевы украиные остроги'», в силу своей геокультурной маргинальности, которая является прямым следствием именно ее геополитической «центральности» (Ходорковский, стр. 106).

Таким образом, уровень культурного положения и развитости, с одной стороны, и политическая значимость в Приграничьи, с другой, идут, кажется, вразрез.



стратегической и, следовательно, символической значимости становятся предметом усиленных внешних стремлений.

Напротив, области, которые объективно, то есть физико-географически, бесспорно маргинальны, часто лишены такого внешнего «внимания». Поэтому там было легче самостоятельно определять условия собственного быта, приобретая, таким образом, опыт, что образ локальной жизни зависит от действий местных и, в конечном счёте, построить коллективное самосознание и их объективное воплощение – институции как гаранта коллективной самобытности. В такой ситуации может возникнуть то, что мы будем называть стадией *активной периферии*, типичной, например, для скандинавских стран.

Некоторые из них из-за рецидивов прежней имперской традиции (например, Швеция и Дания) понимают себя *сегодня* как «полупериферийные» (метрополиями они очевидно не являются), т. е. претендуют не только на пропорционально самостоятельное ведение своих дел, но и на построение и хранение собственной культурной модели¹. Кроме того, когда такая культура находится в зоне контакта между двумя цивилизациями, она может развивать способность коммуникации и принимать культурные достижения в обоих направлениях, что обеспечивает ей конкретную, самостоятельную, *гибридную идентичность*², которая, в отличие от приграничной формы идентичности, не складывается в результате какой-то обреченности на бессилие и бездействие, а, наоборот, происходит из их *положения-между*, но, в отличие от пассивной периферии, приграничья, превращенного в преимущество. Напротив, приграничное, пространственное и культурно-историческое положение-между, постоянно откладывающее окончательное закрепление очертания своей идентичности, нередко вызывает непонимание окружающей (неприграничной) среды, разногласия с ней и отставание исторического развития т.е. несоответствие их исторических часов. Поэтому и возможно, что уже давно не актуальное в метрополиях, и, быть может, в активной (полу)периферии именно оно определяет культурное настроение и

¹ «Существуют значительные различия в том, как культурный перенос происходит в разных категориях периферий, даже на севере, где более старые государства Швеции и Дании сегодня больше не считают свое геокультурное положение периферийным, поскольку оно возможно, характерной для Финляндии и Норвегии. Швеция и Дания также могут относиться к мировой теории систем, где их, скорее всего, назовут 'полу-периферийными' государствами, которые считают себя менее зависимыми от 'центров'» (Nygård, стр. 203).

² «Поскольку люди в этих областях, определенных как периферия часто ощущались как принадлежащие двум мирам, где путь в обоих направлениях был открытым, именно эта гибридизация рассматривалась ее жителями также и как преимущество» (Bösch, стр. 9)

способ мышления пассивной периферии, которая вызывает иногда трагическую, по-гегелевски говоря, «одновременность неодновременного». Мир, видимо, разделяется не только на центр и периферию, но и в периферийных районах мира есть градация периферийности, в том числе и в качественном смысле.

Здесь мы исходим из номинальной дефиниции, согласно которой маргинальная область является физико-географическим определением, а периферия – культурно-онтологическим, причем, не просто говоря о каких-либо заранее фиксированных зависимостях между ними. Однако трудно утверждать, что между ними нет никаких корреляций, поскольку географически маргинальные области иногда также являются периферийными в одном из двух значений. Конечно, бывают и исключения, среди которых, прежде всех, выделяется Англия (раньше в истории были аналогичные случаи Испании и Португалии), которой, хотя очевидно географически маргинальной, даже и сегодня – вопреки раскаяниям за ее колониальное прошлое на уровне публичного осознания, что идет резко вразрез с ее типично имперским поведением по отношению к противникам, иногда скорее выдуманным (причем часто не сопротивляющимся самой Англии, а, для английской верхушки «родному», американскому империализму) – не удается смириться с невозвратной утратой позиции имперской сверхдержавы.

Когда одна культура находится в условиях пассивно-пограничной периферии, ей очень трудно сформировать «твердое ядро» своей культурной идентичности позволяющей им интегрироваться в остаток «неприграничного» мира. Помимо этой внутренней слабости, она не может активно воспринимать и самостоятельно сформировать ответы на внешнее, обычно имперское, воздействие. Более того, пассивная периферия, в отличие от активной, как уже было сказано, не может хорошо понимать свою культурную окружающую среду, где именно имперские влияния тормозили процесс конституирования её идентичности. Культурно-институциональная незавершенность пассивной периферии делает ее объективно уязвимой и действительно в глубинном смысле незащищённой, поэтому ее культурное бытие, как правило, пассивно открыто, почти без помехи, для внешних, даже и недоброжелательных влияний¹, вовсе не потому, что она заведомо «открыта».¹ Можно

¹ Хоркхаймер и Адорно, хотя и в другом, но и не совершенно другом теоретическом поле, фиксируют взаимную связь между степенями развития обществом (в нашем перечитании: имперальной метрополией) и ему подчиненным (т.е. в маргинальном порубежье):



сказать, что приграничный культурный коррелят бывания-на-границе (нем.: An-der-Grenze-sein) является, прежде всего, функционально *неудовлетворительной субституцией идентичности*².

Приграничники так привыкли к разного рода «неожиданностям», которые на самом деле их вряд ли могут удивить из-за совершенно нормализованной для них перманентной временности. Но это вовсе не означает, что, говоря словами Гуссерля и Гадамера, их *горизонт (коллективного) ожидания* почти пуст. Наоборот, в качестве самой значительной отправной точки ориентации приграничной жизни богатый опыт формирует достаточно выраженную «культуру памяти», хотя, конечно, выработанную выборочно, что, конечно, ее делает не очень герменевтически безупречной. Но много совсем неожиданных опытов прошлых и нынешних поколений приграничников всегда напоминают о фундаментальной недостаточности прошлого опыта для надёжной антиципации происходящего, т.е. если смотреть уже на метауровне – о *разрыве между пространством опыта (Erfahrungsraum) и горизонтом ожиданий (Erwartungshorizont)* в смысле известной теоремы немецкого историка и философа истории Райнхарта Козеллека³. Величайший сербский поэт Негош выразил это через своего персонажа, гнома: «готов я [всегда] к любому, чем быть»

«Незрелостью тех, кем правят, живет незрелость общества» (Хоркхаймер & Адорно, стр. 54).

¹ Касательно того говорится о «такой характеристике цивилизационных 'пограничий' [в нашей таксономии, это приграничье], как повышенная (как и во всех остальных случаях, по сравнению с 'классическими' цивилизациями [термин используется автором цитаты в качестве референтного уровня, если не сказать 'нормала' – Ч. К.]) проницаемость внутренних границ в культуре, пролегающих в условиях подобных 'пограничий' не только между отдельными индивидами и человеческими общностями, носителями тех или иных традиций, но и в душах людей» (Шемякин, стр. 172).

² Якушенков верно предполагает «что именно эта утрата определенности и заставляет человека действовать, выходя за рамки нормы» (2016, стр. 22). Поэтому и «состояние утраты» тесно связано с фигурой «лиминальных личностей» испытывающих свой типично «фронтирный [обобщая, можно сказать и краинский] modus vivendi» (там же, стр. 23).

³ «Пока христианское учение о Судном дне поддерживало непреодолимую границу горизонта ожиданий [...], будущее оставалось привязанным к прошлому. Библейское откровение и его распоряжение Церковью [здесь мы изменили перевод - Ч. К.] связывали напряжение между опытом и ожиданием таким образом, что они не могли распасться. [...] Ожидания, которые выходили за пределы всего предшествующего опыта, не соотносились с этим миром. [...] Они были направлены на потустороннее, на конец этого мира в целом.» (Козеллек, стр. 159)

Но «изменение произошло с открытием нового горизонта ожиданий, позднее выраженного словом 'прогресс'. [...] С этого момента стремление к возможному совершенству, ранее достижимому только в потустороннем мире, служило улучшению земного бытия, что позволяло отказаться от учения о Страшном суде в пользу риска открытого будущего» (160). «Новым было то, что ожидания, обращенные в будущее, оказались оторваны от всего, что предлагал прежний опыт. Новый опыт [...] был уже недостаточен для формирования ожиданий. С этого времени пространство опыта более не окружало горизонт ожиданий. Границы пространства опыта и горизонта ожиданий стали расходиться.» (162), что в конечном счете породило «асимметрию между пространством опыта и горизонтом ожиданий» (164).

(Горный венец, стих 2492). Это, быть может, высшее, хотя эллиптическое выражение опыта недостаточности собственной традиции и собственных институций, чтобы справиться с текущей (исторической) жизнью.

Такой подход к жизни со временем создаёт особую твердость характера, которая позволяет справляться с совсем разными, совершенно неожиданными событиями, большими бедами, особенно войнами, потому что «правило» и «стандартный режим жизни» для приграничников является исключением. С другой стороны, именно долговременная стабильность жизни в неприграничных зонах является предпосылкой рефлексивной консолидации культурной идентичности, установлением ее стабильности – чего пограничники принципиально лишены. Поэтому сопротивление трудностям повседневной жизни и чрезвычайную жизнеспособность они обычно «оплачивают» недоразвитостью самосознания собственной коллективной идентичности; т. е. их внешняя прочность неотделима от глубинной слабости культурного самосознания¹. Приграничники могут быть способны к чрезвычайно долгому сопротивлению внешним давлениям и бедам, только *если* им удастся сохранять стойкость коллективной идеи, а именно этого очень трудно достичь при условиях «вечной» приграничной ситуации.

Но если, однако, создастся и продержится приграничное монокультурное сообщество с внутренней гомогенностью посредством сложившейся крепкой коллективной морали, оно может показать способность невероятного исторического сопротивления – при условиях постоянного внешнего давления или попыток вторжения. Примером могут служить сербы прошлого, которые на протяжении веков сопротивлялись оттоманским захватчикам, благодаря *эсхатологическому измерению их коллективного опыта и сознания*². Он был создан и хранился в основном в анонимной, народной эпической поэзии, которая сохранила для народа источники силы и воли в борьбе. Лейтмотивом этой поэзии была «бесконечная» борьба за жизнь и смерть с (в их перспективе) «заклятым турецким врагом», санкционированная трансценденцией и «вечностью» и почти ежедневно имеющая место в реальности, рассматриваемая как борьба между добром и злом, честью и бесчестьем, христианством и исламом. Героическая эпика для сербского коллективного сознания,

¹ Это двойное отношение прочность – слабость, правда, в другом контексте и в другом значении, встречается не только на таких, особенных перифериях, но даже и в самих центрах, вернее, метрополиях европейской культуры. Подробнее об этом смотреть в нашей статье (Kopriwitsa, 2017).

² См. подробнее в (Schmaus, 1973).



для которого попадание в турецкое рабство становилось долгосрочной, «непереработанной» психологической травмой, представляла хотя и хрупкую, но единственную нить для сохранения надежды и спасения чувства достоинства, средством психологической компенсации жуткой повседневной жизни, где доминировало унижение подчиненностью «азиатским чужакам». Именно попадание в турецкое рабство *выбросило* сербское достаточно крепкое коллективное самосознание из времени средних веков в состояние продолжающейся временности, горизонт которой был насыщен зрелищем бесконечного страдания и унижения, без каких-либо признаков их окончания. Но героическая эпика была не только делом психологической компенсации, но она дала и своего рода «герменевтический» *ответ* на такое положение, создавая опору для перманентного бунта, сначала виртуального, в воображении, а потом, при возникновении любых выгодных обстоятельств, и реального, либо при воздействии христианских сил (Венеции, Австрии и России), либо самостоятельно. И, наконец, вследствие двух всеобщих сербских восстаний начала XIX века (1804 и 1815 гг.), силой собственной воли и собственного оружия, возродилась сербская государственность.

Список литературы

- Bösch, F. (2012). Entstehung an der Peripherie: Europavorstellungen im 20. Jahrhundert, F. Bösch et al. (ред.), *Europabilder im 20. Jahrhundert. Entstehung an der Peripherie* (стр. 7-24), Göttingen: Wallstein.
- Husserl, E. (2005). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–1912)*, *Husserliana*, Bd. XXXVIII. New York: Springer.
- Kopriwita, Tsch. (2017). Starke Grenzen – weiche Kerne. Eine Besinnung auf das Verhältnis der europäischen Praxis der Grenzziehung und das Phänomen der Identitätsbildung. In Madalina Diaconu/ Bianca Boteva-Richter (ред.), *Grenzen im Denken Europas*. Wien: New academic press. (pp. 111-133).
- Kopriwita, Tsch. (2015). Die Identität zwischen Sein und Reflexion. Zur Klärung einer viel umstrittenen Begriffes. In Holger Zaborowski et al. (ред.), *Phänomenologische Ontologie des Sozialen* (pp. 294-317), Belgrad: Институт за философију и друштвену теорију.
- Nygård, S. (2012). Die Moderne übersetzen. Visionen und Gebrauchweisen von Europa in Finland, *Europabilder im 20. Jahrhundert. Entstehung an der Peripherie* (pp. 195-215). Göttingen: Wallstein.

- Schmaus, A. (1971). Zur Frage der Kulturorientierung der Serben im Mittelalter. *Gesammelte slavistische und balkanologische Abhandlungen 1* (стр. 272-289), München: R. Trofenik.
- Schmaus, A. (1973). Heldentum und Hybris. In *Gesammelte slavistische und balkanologische Abhandlungen 2* (стр. 291-302). München: R. Trofenik.
- Sokol, J. (2009). Peripherie und Grenze. In M. T. Vogt et al. (ред.), *Peripherie in der Mitte Europas* (pp. 51-60). Frankfurt/M. et al: Peter Lang.
- Гуськова, Е. Ю. (2001). *История югославского кризиса (1990-2000)*. Москва: Русское право/ Русский национальный фонд.
- Бергер, П. & Лукман, Т. (1995). *Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания*. (Е. Руткевич пер.) Москва: Медиум.
- Дэвис, М. Л. (2018). Fin de siècle: Психопатология историзованной жизни. *Новое литературное обозрение*, 149 (1), 353-373 (Н. Ставрогина пер.).
- Екмечић, М. (2007). *Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492–1992) [Долгое движение от зарезывания до вспашки. История сербов в новом времени (1492-1992)]*, Београд: Завод за уџбенике.
- Замятин, Д. Н. (2000). Феноменология географических образов. *Новое литературное обозрение*, 46, Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nlo/2000/46/fenom-pr.html>.
- Карабущенко, П. Л. (2016). Элита и фронтир. *Журнал фронтирных исследований*, (2), 92-104.
- Козеллек, Р. (2016). «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» – две исторические категории. *Социология власти*, 28(2), 148-173 (А. Котов и О. Кильдюшов пер.).
- Копривица, Ч. Д. (2014а). Његошев ангажман. Борба и смисао у његовом књижевном и животном дјелу [Ангажированность Негоша. Борба и смысл в его литературных произведениях и в работе его жизни; на сербском]. В Ирина Деретић (ред.), *Историја српске филозофије III. Прилози истраживању* (стр. 310-344). Београд: Euro Giunti.
- Копривица, Ч. Д. (2014б). Његош као мислилац српске ситуације и српског идентитета [Негош как мыслитель сербской ситуации и сербской идентичности]. В Мирко Вуксановић (ред.), *Његошев зборник Матице српске 2, Споменица о двестогодишњици Његошевог рођења* (стр. 324-352). Нови Сад: Матица српска.



- Копривица, Ч. Д. (2016). Черногорцы. *Научный результат*, 1(7), 66-70.
- Краљачић, Т. (2017). *Калајев режим у Босни и Херцеговини (1882–1903) [Режим Калаја в Боснии и Герцеговины (1882–1903)]*, Београд: Catena mundi.
- Манан, А. А. (2019). Зеркало Адама: фронтир в имперском воображении. *Журнал фронтирных исследований*, (1), 83-101.
- Миллер, А. (2007). *Малороссийское генерал-губернаторство*. В М. Долбилов, А. Миллер (ред.), *Западные окраины Российской империи Новое литературное обозрение*. (стр. 58-59).
- Могильнер, М. (2018). Fin de siècle империи: Островная утопия Владимира Жаботинского, *Новое литературное обозрение*, (1/149), 175-197.
- Панарина, Д. С. (2015). Граница и фронтир как фактор развития региона и/или страны, *История и современность*, (1), 15-41.
- Понамарев, Е. (2017). Русский имперский травелог, *Новое литературное обозрение*, (2/ 142), 33-44.
- Пономарева, Е. Г. (2010). *Новые государства на Балканах*. Москва: МГИМО.
- Ранке, Л. (2019). *Србија и Турска у деветнаестом веку*. Нови Сад: Академска књига (С. Новакович пер.).
- Српска академија наука и уметности [САНУ] (1978). *Речник српскохрватског књижевног и народног језика [Словарь сербохорватского литературного и народного языка]*, том X. Београд.
- Рибер, А. (2004). Меняющиеся концепции и конструкции фронта: сравнительно-исторический подход. В Герасимов, И. В. и др. (ред.), *Новая имперская история постсоветского пространства*. Казань: Центр исследования национализма и империи.
- Самарчић, Р. (ред.) (1994). *Историја српског народа, раздел III/1*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Стојанчевић, В. (ред.) (1994). *Историја српског народа, раздел V/1*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Эткинд, А., Уффельманн, Д. & Кукулин, И. (2012). Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением. В Александр Эткинд et al. (ред.), *Там, внутри. Практика внутренней колонизации в культурной истории России* (стр. 6-50). Москва: Новое литературно обозрение.
- Хайдеггер М. (2003). *Бытие и время*. Харьков: Фолио (В. В. Бибахин пер.).

- Ходарковский, М. (2012). В чем Россия «опережала» Европу, или Россия как колониальная империя, В Александр Эткинд et al. (ред.), *Там, внутри. Практика внутренней колонизации в культурной истории России* (стр. 105-116). Москва: Новое литературно обозрение.
- Хоркхаймер, М. & Адорно, Т. (1997). *Диалектика Просвещения. Философские фрагменты*. Москва – Санкт Петербург: Медиум - Ювента (М. Кузнецов пер.).
- Шемякин, Я. Г. (2016). Россия и Латинская Америка как цивилизации: попытка сравнения. Размышления над книгами В.Б. Земскова. *Мир России*, (1), 154-180.
- Якушенко, С. Н. (2016). На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. *Журнал фронтальных исследований*, (4), 7-32.
- Якушенко, С. Н. (2019). In *Frontier we trust. Журнал фронтальных исследований*, (3), 12-59.

References

- Berger, P. & Luckman, T. (1995). *Social construction of reality. A treatise on the sociology of knowledge*. (E. Rutkevich trans) Moscow: Medium.
- Bösch, F. (2012). Entstehung an der Peripherie: Europavorstellungen im 20. Jahrhundert, F. Bösch et al. (ред.), *Europabilder im 20. Jahrhundert. Entstehung an der Peripherie* (стр. 7-24), Göttingen: Wallstein.
- Davis, M. L. (2018). Fin de siècle: The psychopathology of historical life. *New Literary Review*, 149 (1), 353-373 (N. Stavrogin trans).
- Ekmechiћ, M. (2007). *Dougo kretereme change the class and oraња. The history of Srba at the New Age (1492–1992) [Long movement from killing to plowing. The history of the Serbs in the new time (1492-1992)]*, Beograd: Factory for ubenike.
- Etkind, A., Uffelmann, D. & Kukuljin, I. (2012). The internal colonization of Russia: between practice and imagination. In Alexander Etkind et al. (eds.), *Inside. The practice of internal colonization in the cultural history of Russia* (p. 6-50). Moscow: New literary review.
- Guskova, E. Yu. (2001). *The history of the Yugoslav crisis (1990-2000)*. Moscow: Russian Law / Russian National Fund.
- Heidegger M. (2003). *Being and time*. Kharkov: Folio (V.V. Bibikhin trans).



- Horkheimer, M. & Adorno, T. (1997). *Dialectic of Enlightenment. Philosophical fragments*. Moscow - St. Petersburg: Medium - Juventa (M. Kuznetsov trans).
- Husserl, E. (2005). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–1912), Husserliana, Bd. XXXVIII*. New York: Springer.
- Karabuschenko, P.L. (2016). Elite and Frontier. *Journal of Frontier Studies*, (2), 92-104.
- Khodarkovsky, M. (2012). What Russia “ahead of” Europe, or Russia as a colonial empire, In Alexander Etkind et al. (eds.), *Inside. The practice of internal colonization in the cultural history of Russia* (p. 105-116). Moscow: New literary review.
- Koprivitsa, Ch. D. (2014a). Његосhev angazhman. Fighting and Smisao in Legov's Kizhevny and Animal Business [Engagement of Negosh. The struggle and meaning in his literary works and in the work of his life; in Serbian]. In Irina Deretiћ (eds.), *History of Philology of Philosophy III. Attempt to abstain* (p. 310-344). Beograd: Euro Giunti.
- Koprivitsa, Ch. D. (2014b). Његос kao mislilac и spp situation and и identity '[Negosh as a thinker of the Serbian situation and Serbian identity]. In Miro Vuksanoviћ (ed.), *Његосhev Zbornik Matice srpske 2, Spomenitsa on the two-year-old његосhevog рођења* (p. 324-352). Novi Sad: Mother of Srpska.
- Koprivitsa, Ch. D. (2016). Montenegrins. *Scientific Result*, 1 (7), 66-70.
- Kopriwitsa, Tsch. (2015). Die Identität zwischen Sein und Reflexion. Zur Klärung einer viel umstrittenen Begriffes. In Holger Zaborowski et al. (ред.), *Phänomenologische Ontologie des Sozialen* (pp. 294-317), Belgrad: Институт за философију и друштвену теорију.
- Kopriwitsa, Tsch. (2017). Starke Grenzen – weiche Kerne. Eine Besinnung auf das Verhältnis der europäischen Praxis der Grenzziehung und das Phänomen der Identitätsbildung. In Madalina Diaconu/ Bianca Boteva-Richter (ред.), *Grenzen im Denken Europas*. Wien: New academic press. (pp. 111-133).
- Kozelleck, R. (2016). “Space of experience” and “horizon of expectations” are two historical categories. *Sociology of Power*, 28 (2), 148-173 (A. Kotov and O. Kildyushov trans).
- Краљачи, Т. (2017). *The Kalaya regime in Bosnia and Herzegovina (1882–1903) [The Kalaya regime in Bosnia and Herzegovina (1882–1903]*. Beograd: Catena mundi.
- Manan, A.A. (2019). Adam's Mirror: the Frontier in the Imperial Imagination. *Journal of Frontier Studies*, (1), 83-101.

- Miller, A. (2007). Little Russian Governor General. In M. Dolbilov, A. Miller (eds.), *The Western Outskirts of the Russian Empire. New Literature Review*. (p. 58-59).
- Mogilner, M. (2018). Fin de siècle of the empire: The Island Utopia of Vladimir Jabotinsky. *New Literary Review*, (1/149), 175-197.
- Nygård, S. (2012). Die Moderne übersetzen. Visionen und Gebrauchweisen von Europa in Finland, Europabilder im 20. Jahrhundert. *Entstehung an der Peripherie* (pp. 195-215). Göttingen: Wallstein.
- Panarina, D.S. (2015). Border and frontier as a factor in the development of a region and / or country. *History and Present*, (1), 15-41.
- Ponamarev, E. (2017). Russian Imperial Travelogue. *New Literary Review*, (2/142), 33-44.
- Ponomareva, E.G. (2010). *New states in the Balkans*. Moscow: MGIMO.
- Ranke, L. (2019). *Srbija and Tursk in the ninth century*. Novi Sad: Akademsk kiga (S. Novakovich trans).
- Rieber, A. (2004). Changing concepts and designs of the frontier: a comparative historical approach. In Gerasimov, I.V. et al. (Eds.), *The New Imperial History of the Post-Soviet Space*. Kazan: Center for the Study of Nationalism and Empire.
- Samarđih, R. (ed.) (1994). *History of the People's Communist Party, section III / 1*. Beograd: Srpska Kъizhevna a friend.
- Schmaus, A. (1971). Zur Frage der Kulturorientierung der Serben im Mittelalter. *Gesammelte slavistische und balkanologische Abhandlungen 1* (стр. 272-289), München: R. Trofenik.
- Schmaus, A. (1973). Heldentum und Hybris. In *Gesammelte slavistische und balkanologische Abhandlungen 2* (стр. 291-302). München: R. Trofenik.
- Shemyakin, Y. G. (2016). Russia and Latin America as Civilizations: An Attempt at Comparison. Reflections on the books of VB Zemskova. *World of Russia*, (1), 154-180.
- Sokol, J. (2009). Peripherie und Grenze. In M. T. Vogt et al. (ред.), *Peripherie in der Mitte Europas* (pp. 51-60). Frankfurt/M. et al: Peter Lang.
- Srpska Academy of Science and Sciences [SANU] (1978). *Rechnik srpskohrvatsk kizhevnoг and folk Gezika [Dictionary of Serbo-Croatian literary and folk language], volume X*. Beograd.
- Stoanchevi, V. (ed.) (1994). *History of the People's Communist Party, section V / 1*. Beograd: Srpska Kъizhevna a friend.
- Yakushenkov, S. N. (2016). Gloomy clouds cover the border - the stern land is enveloped in silence. *Journal of Frontier Studies*, (4), 7-32.



- Yakushenkov, S. N. (2019). In Frontier we trust. *Journal of Frontier Studies*, (3), 12-59.
- Zamyatin, D.N. (2000). Phenomenology of geographical images. *New Literature Review*, 46, Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nlo/2000/46/fenom-pr.html>.